

Лукин В.П. (Москва)

Впервые я увидел Мераба в Праге, в начале 1965 года. Я только что приехал работать в Прагу в журнал «Проблемы мира и социализма» (последнем уцелевшем осколке Коминтерна), где Мамардашвили работал уже довольно давно.

По какому-то делу проходя мимо начальственного предбанника, я решил заглянуть туда на «огонек». Точнее — на пожар. Некто Тучин — мелкий совчиновничий то ли «колёсик», то ли «винтик» (скорее, «винтик») нашего непростого, как легко догадаться, коллектива — сказал Мерабу нечто, что показалось ему недостаточно вежливым (подобные персонажи, особенно если они «оттуда», изъяснялись, как правило, полусвойски, полупагло).

Реакция каждого «нормального» человека того времени была в таких случаях однозначной — «ну его к чёрту, лучше не связываться». Однако незнакомый мне тогда молодой ещё человек с уже необратимой лысиной и удивительными внимательно-отрешёнными глазами неспешно поднялся со стула и выдал Тучину всё, что он о нём думал, безо всяких скидок на то, что могло произойти потом. А произойти в журнале коммунистических и рабочих партий могло всякое.

Так я с первого взгляда понял, что этот человек живёт, как говорили римляне, *hic et nunc* (здесь и сейчас). Не в расчёте на какую-то иную, лучшую, более смелую, красивую и гармоничную жизнь, которую мы зарабатываем, если будем сегодня вести себя разумно, жертвуя своими истинными желаниями, сдерживая свои чувства и тем более действия. Отказ от поступка сейчас, ради поступка потом, когда он будет нужнее и полезнее, был чертой, абсолютно ему чуждой. Он был человеком не намерений, а именно поступка, обитая при этом в кругу добрых людей с добрыми намерениями.

Разумеется, поступка не политического, в частности диссидентского, а поступка прежде всего личного, органически связанного с его собственной, не стадной, не коллективной, а индивидуальной судьбой.

Тогда, при первой нашей встрече, всё обошлось. Потом было иначе.

Последний раз я виделся с Мерабом осенью 1990 года. Он приехал, кажется, из США и был в Москве несколько дней проездом в Грузию, где в это время буревестничал З. Гамсахурдиа. Накануне отъезда он зашёл ко мне в Белый дом (я тогда был Председателем международного комитета Верховного Совета РСФСР) и провёл у нас большую часть дня. Я чувствовал, что ему нравится наша бурливая, нелепая, но совершенно чуждая глубоко советским белодедовским стенам суета. Он сидел, покуривая трубку, слушал беседы с приходившими и куда-то убежавшими народными депутатами, участвовал во встречах с иностранными гостями. У меня было ощущение, что он как бы персонифицирует воплощение в жизнь мечты Б. Окуджавы «зайду к Юре в кабинет. Загляну к Фазилю...».

И вместе с тем он был явно озабочен. Озабочен прежде всего тем, что происходило в Грузии, и тем, что ему там предстояло делать. Ведь уже были сказаны без сомнения исторические, мужественные, но убийственные для него слова о том, что, если народ за Гамсахурдиа, то он, Мераб, не с народом. Он думал о том, что делать дальше. Ведь он был человеком поступка.

Наконец он собрался уходить. Благо жил рядом, у Сенокосовых, через мост у Белого дома, в районе гостиницы «Украина».

На следующий день он свой последний поступок совершил. Отправился в аэропорт, чтобы лететь в Грузию, в эпицентр истерии. Чтобы ей противостоять. Этот его поступок оказался последним. Его не стало буквально на взлете.

Между двумя датами, о которых я упомянул, прошло ровным счётом четверть века.

Конечно, я не осмелюсь говорить о том, каким был Мераб. Пожалуй, я могу поделиться своими ощущениями от общения с ним (далеко не каждодневного, хотя и систематического) на протяжении этого периода.

Прежде всего бросалось в глаза, что это человек без возраста. Однажды знаменитый режиссер Ю.П. Любимов рассказал о таком эпизоде. К нему пришёл один из ведущих актёров «Таганки» и попросился на роль Гамлета. Любимов ответил: «Не пойдёт. Не тот возраст». «А как же Высоцкий? — возразил актёр. — Ведь он мой ровесник». «А у Высоцкого нет возраста», — изрёк Любимов.

У Мераба, быть может, в ещё большей степени, чем у Высоцкого, не было возраста.

Он никогда (по крайней мере на моей памяти) не был ни инфантильным, ни старым. Он был серьёзным, взрослым, зрелым,

сильным человеком, ответственным за себя и всё то, то имело к нему непосредственное отношение.

Он довольно рано стал болеть. Пошаливало сердце. По-видимому, это передалось по наследству от отца, который рано умер от этого недуга. Я никогда не слышал от него жалоб на здоровье.

Как-то уже после первого его инфаркта мы сидели у меня. На столе стояла бутылка любимого им виски. Я начал упрекать его. «Мераб, — говорю, — тебе надо изменить стиль жизни. Ты же был спортсменом, волейболистом в институте. Вот я утром бегаю по парку (тогда джогинг был в моде), и я здоровый». Он посмотрел на меня своими бездонно-философскими глазами и сказал: «Володя, ты не здоров, потому что ты бегаешь, а ты бегаешь, потому что ты здоров».

Своему стилю жизни, который бы я назвал светско-монашеским, он не изменил до конца.

Почему «светско-монашеским»?

Потому что, с одной стороны, Мераб являлся, несомненно, светским человеком, в том смысле, что он был одним из наиболее ярких и заметных персонажей московского (и не только московского) интеллектуально-художественного бомонда позднесоветского периода. Стихия этого круга искала осмысления, самопознания, самоидентификации в культурном, историческом, цивилизационном ареале. Мераб в очень значительной мере был персонификацией этого процесса. Мераб говорил им то, что они делают, как правило, не осознавая сами того, что они делают, но чувствуя, что они должны делать именно это, ибо для этого и появились на свет здесь и сейчас.

Многие из этого круга могли бы повторить слова Паскаля, который сказал: «Не в писаниях Монтеня, а во мне содержится всё, что я в них вычитываю». Только вместо Монтеня им надо было поставить Мераба, причём не столько его писания (они были достоянием профессионалов), сколько его застольные речи, переросшие затем в знаменитые лекции по мотивам древних греков, Канта, Декарта, Пруста.

Но такая светскость неотвратимо требовала истинно монашеского погружения в свою профессию-призвание, в свою миссию по поиску обобщающих смыслов в океанах мировой культуры, литературы, науки, философии. Вот кто работал воистину как раб, прикованный к галерам. Галерам, гружённым древнегреческим и всем последовавшим за ним культурным и духовным багажом Европы.

В начале 70-х годов как-то раз я встретил Мераба в троллейбусе. Он ехал из библиотеки Академии наук. Я был удивлён, потому что обычно он работал дома. Спросил его — почему ты отправился туда? Он сказал: «Знаешь, я влез в такие дебри, которые требуют очень редких книг». Помолчав, он продолжил: «Я и сам иногда побаиваюсь, когда чувствую, в какие глубины я нырнул. Не знаю, как и когда я оттуда выберусь».

По-моему, он и не выбрался, и не утонул. Он сам стал частью этих глубин, большинству из нас, мне, во всяком случае, к сожалению, недоступных.

Мераб уехал (вернее, его «уехали») из Праги где-то в 1967 году. Так что ввода советских войск в Чехословакию он там не застал. Однако до отъезда у него сложились дружеские отношения со многими видными чешскими интеллектуалами. Некоторые из них после января 1968 года и начала так называемого «процесса возрождения» или Пражской весны стали властителями дум и активистами процесса демократических перемен. Иногда с лёгкой руки Мераба, иногда самостоятельно я тоже познакомился с некоторыми из них. Когда я приезжал в Москву, Мераб писал записки своим чешским друзьям. Я их передавал.

Где-то в середине июля я пришел в «Литерарные новости» — неофициальный орган авангардных сил Пражской весны и передал записку от Мераба А. Лиму — тогда зам. главного редактора газеты.

Я сказал ему, что хотел бы посмотреть, как происходят собрания и массовые акции участников движения. «Интересный опыт. Может, когда-нибудь пригодится» — добавил я.

Лим улыбнулся, помолчал и сказал: «Конечно, приходи. У нас большое собрание планируется на 21 августа. Так что будем рады, если это собрание состоится, а эта газета и эта страна будут существовать».

21 августа я пришёл к редакции. Она была плотно обложена советскими танками. А.Лим вскоре уехал из страны.

Я, впрочем, уехал из Праги раньше, 27 августа, в специальном самолёте, предназначенном для советских граждан, выразивших несогласие с «неотложной братской помощью».

Поскольку мы — пассажиры самолёта — все, и я в том числе, были чем-то вроде прокаженных с неясным будущим (*a la guerre comme a la guerre*), я ввёл для себя самого недельный мораторий на контакты с друзьями (особенно друзьями, проблемными с точки зрения властей, а таких у меня было немало).

Однако уже на следующий день раздался телефонный звонок, и я услышал голос Мераба: «Ты почему не появляешься?» Я замялся и промычал что-то с намёком на особые обстоятельства и желательность испытательного карантина. На что услышал в трубке вообще-то нехарактерный для Мераба залп ненормативной лексики и не допускающее возражений требование немедленно двигаться к нему (благо жили мы практически напротив друг друга на Ленинском проспекте).

У Мераба я застал Э. Неизвестного, и они оба устроили мне допрос с пристрастием по чешской тематике. Так незаметно прошёл почти весь день. Именно там и тогда я узнал, что Эрнст принял решение уехать из страны.

В следующий раз с Э. Неизвестным мы встречались в 1992 году. Работая в США Послом России, я приехал в нью-йоркскую мастерскую Эрнста. Там мы молча постояли около созданной им небольшой статуи Мераба. Не знаю точно, эта ли статуя воздвигнута сейчас в центре Тбилиси.

Когда спорят о том, кем был Мераб по происхождению, у меня в голове возникают всегда названия трёх городов — Тбилиси, Москва, Париж.

Родина предков, родина судьбы и родина культуры.

Родился он, конечно, в Гори, и, по его рассказу, его дед в бурные времена 1905 года помогал прятать в соседнем огороде одного из тогдашних молодых революционных бузотёров Сосо Джугашвили, семья которого жила по соседству. Но всё же **Тбилиси** и круг талантливых грузинских интеллигентов значили для Мераба многое. И конечно его семья (мама и сестра Иза). Там были его дом, его крепость. Оттуда он приехал, вошёл в большой мир. Там он завершил свой творческий, да и жизненный путь.

Москва. К ней Мераб относился сложно. Здесь была его большая семья — его дело, его жизнь. Много здесь ему не нравилось. Да и он сам с трудом вписывался в позднесоветскую Москву. Они взаимно и отторгали, и привлекали друг друга. Иногда это проявлялось даже чисто визуально.

Он сам рассказывал, как однажды он шёл по Ленинскому проспекту, о чём-то задумавшись, и вдруг увиделдвигающуюся ему навстречу группу москвичей, в основном женщин. «Все они были низкими, плотными, коренастыми в остроконечных меховых шапках, у каждой в руках по две большие сумки. “Боже! Какие уроды! Прямо как монгольская конница”, — подумал я. Груп-

па прошла мимо. И тут я услышал, как одна из женщин сказала другим: «Вы видели, какой урод прошёл мимо нас?» Так воспринимали друг друга культура индивидуального достоинства и культура группового приспособления.

И вместе с тем Мераб ясно понимал, что Москва — это главное место, где, не покидая страны, можно слушать и слышать. Где есть собеседники и есть аудитория. А следовательно, где можно делать своё дело.

Он хорошо владел несколькими языками. Но язык, на котором он мог выразить себя на 100 %, был русский язык. Он был патриотом русского языка и в значительной степени продуктом русской интеллектуальной среды. Он прошёл путь талантливого россиянина позднесоветского периода, но этот путь и специфика его таланта вывели его далеко за пределы этой колеи. Именно в Москве была та аудитория, которая чувствовала и впитывала его разговор с самими собой, даже не всегда «догоняя» его сложные речевые периоды. Потому что и он, и она (аудитория) были вместе тем племенем, о котором великий поэт написал великие строки: «Греки сбондили Елену по волнам. Ну а нам — солёной пеной по губам. Там, где эллину сияла красота, нам из чёрных дыр зияла срамота». Он умел вписывать всё это в контекст единой истории, культуры и человеческого бытия.

Париж был для Мераба персонификацией европейской среды, европейской культуры и европейской *raison d'être*. Он любил быть в Париже парижанином. Если смысл того, чем он занимался, он точнее всего мог выразить на русском, то, говоря по-французски или слушая хороший французский, он, по его словам, испытывал что-то близкое к чувственному наслаждению.

Париж для него всегда был праздником. И наверное, Париж всегда был с ним. Однако доступен Париж был для Мераба отнюдь не всегда. Его подолгу не выпускали за рубеж.

Вскоре после возвращения из Праги Мераб ещё раз был выпущен в Париж. Видимо, он чувствовал, что тучи над ним сгущаются. И, как это с ним бывало всегда, он совершил поступок. Он просто задержался в Европе сверх того времени, которое было ему позволено и оформлено. Он позволил себе то, что никто из «нормальных» советских людей тогда совершить не мог — пожил свободно и спокойно там, где хотел, и так, как хотел. А хотел — как европеец, как парижанин.

А потом вернулся, и дверь за ним захлопнулась — всерьёз и надолго. Открылась она вновь лишь в период нашей перестрой-

ки в 1988 году, и то не без трудностей и борьбы (знаю это хорошо, поскольку принимал участие в этом деле, которое увенчалось успехом прямо накануне вылета «перестроечной» делегации во главе с покойным академиком Г.А. Арбатовым и с участием Мераба в США).

Когда я вспоминаю Мераба, я часто задаю себе вопрос: что такое философ и что делает человека философом?

И, честно говоря, не нахожу ответа. Я просто вспоминаю его глаза, его странноватую, сутоловатую фигуру, манеру молчать и говорить, его владение атмосферой той среды, в которую он попадает, при этом безо всяких видимых усилий... Его никем не оспаривавшееся, как бы естественное право управлять течением мысли той компании или аудитории, в которой он находится.

Вот одна из наших бесед за бутылкой виски. Очень позднее брежневское время. Мераб живёт уже в Тбилиси. Приехал в Москву, из которой был фактически изгнан. Сидим у меня, и я жалуюсь: жить стало невозможно, все уехали из страны, не с кем поговорить. Вот зовут во Владивосток — там создаётся институт, предлагают возглавить.

Одно меня отвращает — больно далеко. «Далеко? — спрашивает Мераб. — Откуда далеко?»

И я тут же понимаю всю меру, а вернее, безмерность своей глупости. Действительно, откуда?

Наверное, философ — это если не владелец, то по меньшей мере ретранслятор некоего простого, но неимоверно, непостижимо сложного для обычного человека здравого смысла.

Как жаль, что никто не записал «диалоги с Мерабом». Вот один в Греции записал...